

АНДРЕЙ ТЕСЛЯ*

ДВА РАЗГОВОРА С ГЛЕБОМ ПАВЛОВСКИМ О МИХАИЛЕ ГЕФТЕРЕ**

DOI: 10.17323/2587-8719-2020-2-13-162.

РАЗГОВОР ПЕРВЫЙ (17.IX.2019, ИРКУТСК)

Андрей Тесля: Вы познакомились с Гефтером в 1970 г. Собственно, кто в это время в этой оптике для вас Гефтер?

Глеб Павловский:¹ Учитель. Мы приехали в Москву нашей тогдашней одесской странноватой философской коммуной, со списком учителей жизни — выбирать. И обходили этих учителей. Собственно, первым стал Генрих Батищев — философ, диалектик достаточно известный. А он уже меня направил к Гефтеру.

Но Гефтер был у нас в списке. Потому что список формировался на базе крамольного сборника «Историческая наука и некоторые проблемы современности». Поэтому там были Гефтер, Арсеньев, Библер, кажется, Трубников.

А. Т.: Поскольку сборник все время вспоминается в разных контекстах, то отсюда вопрос — а что тогда настолько помещало его в фокус внимания, что делало его из ряда вон выходящим?

Г. П.: Абсолютная случайность — произвол тематики, свободная речь. Но — случайность в стиле, который любит Константин Гаазе — которая является кумулятивной необходимостью.

Сборник я нашел, перебирая книги в юношеской библиотеке Одессы. Как он туда попал — я не знаю.

Но я сразу, открыв, обратил внимание на его структуру.

*Тесля Андрей Александрович, к. филос. н., старший научный сотрудник, научный руководитель (директор) Центра исследований русской мысли Института гуманитарных наук Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта (Калининград), mestr81@gmail.com, AnATeslya@kantiana.ru.

** © Тесля, А. А. © Философия. Журнал Высшей школы экономики. Работа поддержана из средств субсидии, выделенной на реализацию Программы повышения конкурентоспособности БФУ им. И. Канта в рамках Проекта 5–100.

¹Глеб Олегович Павловский, директор Русского института (Москва).

Это было время очень жестких и притом обязательных форм языка — и форм публикаций выраженного. Начало «второго оледенения», суловской чистки гуманитарных наук. А сборник выделялся тем, что в нем, во-первых, были дискуссии — по каждому вопросу за статьей следовала некая стенограмма обсуждения, более интересная, иногда, чем основной доклад. И конечно, статья Гефтера о Ленине. Я попытался ее сразу прочесть, сломал о нее зубы и начал уже читать медленно. Собственно, я ее тему даже не помню, что-то об аграрном вопросе. Это был... просто совершенно божественный процесс вхождения — трудного, но заслуженного. Когда мозг чувствует, что «заработал своей обед».

Значит, преодолевая... Ведь там не было, это я хорошо помню, специальных усложнений — оборотов и гегельянских конструкций, отсекающих «профанов». Простой на вид русский язык, которым обсуждались совершенно необычные вещи. И даже не особенно важно, что дело касалось Ленина, как основателя данного государства, в котором мы жили и в механизме которого пытались разобраться. А важен был сам способ мыслить — наглядное как сложное. Мы начинаем здесь и сейчас, не откладывая, обсуждать то, что касается... нашей жизни.

Этот сборник меня очень сильно толкнул в сторону марксизма и диалектики как метода. Последнее статьей Арсеньева, которая там была...

Михаил Рожанский: «Историзм и логика [в марксистской теории]».

Г. П.: Да. Прокламация тотальной диалектики как открытой системы. Диалектика может все — и мы всем сейчас это покажем. Показывать он не показывал, но, в принципе, у него даже сильнее, чем у Батищева, был выражен этот пафос. Марксизм как открытая система, кажется.

А мы чувствовали, что живем в системе, которая закрывается... Видеть все это напечатанным — уже было необычно.

Благодаря этому сборнику Гефтер попал в список ближайших целей, особенно для меня. И в итоге оказался главным моим попаданием. Мальчишка выбежал на улицу и налетел на Сократа.

А. Т.: Хорошо. Здесь такая тропинка от Батищева...

Г. П.: Батищев — это, конечно, учение о человеческой деятельности, деятельная сущность как философский принцип. Мы пришли к нему — и он нас принял, поселил у себя. Сейчас трудно такое представить в Москве, а тогда он нас принял и действительно ближайшие несколько лет он был моим гуру.

А Гефтер... с Гефтером мы познакомились потом, он мне написал — о Марксе, что тоже было необычно. К сожалению, наша переписка пропала на обывках.

И в 1972 мы уже основательно вступили в общение...

А. Т.: А все-таки формулируя более жестко — 72-й, ближайшее к этому время, еще раз возвращаясь к исходному: Кто и что в это время для вас в вашей оптике Гефтер? Что он из себя представляет? Чем он является для внешнего взгляда, чем он является для вас тогда?

Г. П.: Гефтер был марксист, совместимый с чтением самиздата. Человек, который правильно, то есть опасно мыслит Маркса и Ленина. Мне это было близко. В это время мы уже глубоко зашли в самиздат. Я хотел мыслить главные вещи в открытом языке, не на сленге. Центральной проблемой была, конечно, демаркация — где мы и кто мы? В какой точке событийной вселенной Октября?

Потому что Советский Союз легитимировал себя как исторический процесс, представал длящимся историческим событием.

Но тогда — в каком месте этого события мы расположены? Для нас это был абсолютно жизненный вопрос. Из него следовало — что дальше? Как войти в эту историю, кем в ней быть — или просто укрыться от нее, закрыться, как делали многие из наших сверстников?

Я не хотел закрываться, я хотел — войти.

Поэтому Гефтер был как бы маршрутизатором, что ли... По аутентичному своему взгляду на происхождение моей страны, Советского Союза — и на мировую историю, где у него была мощная подводка. И все это было завязано на главное — на проблему действия.

Он дал почитать статьи, отражавшие тогдашний его взгляд на проблему действия — «Марксизм и проблема исторического действия», эссе о Гамлете... И «Диалог о народничестве» — в одной из ранних версий.

Вся эта сцена была близка нашей. Мы тоже кружили в темах народничества, к тому времени я перечитал уже много народнической литературы. Гефтер предлагал систему координат. Он учил мыслить окружающее как историю, как ее фрагмент, как событие. Быть может, я недостаточно жестко говорю? Дело в том, что я не искал, кто бы мне объяснил, как бороться с советской властью или быть «настоящим марксистом». Наверное, я бы нашел, если бы искал этого.

Гефтер мне показал, как мыслить, не попадая в чужие сети.

Но поначалу я ближе общался с Генрихом Степановичем Батищевым. Тот был в переходе от марксистской диалектики к...

М. Р.: ...к экзистенциализму.

Г. П.: Это нет! Он шел к теологии, но сложными путями. В этот период он через «Агни-йогу» проходил. Искал совершенства, как очень многие в Москве тогда.

Уже тогда «история» для меня значила больше, чем специальность, предмет. Она казалась не менее емкой, чем диалектика. А понятия «исторический метод» и «диалектический метод» для меня были почти идентичны — быть может, в силу невежества. Зато у нас [с Гефтером] рано пошло сближение по ряду позиций. За исключением раннего «антропологического» Маркса, тут он меня сразу разнес, за мои розовые сопли. Он показал мне Маркса-стойка. Это первое меня ошеломившее из времени первых бесед: Маркс-стойк. И стойком должен быть всякий, кто хочет войти в историю, тем более ей заниматься. Потому что слишком многое надо стерпеть и прощать...

Но это уже некоторое, быть может, выпрямление — я не уверен, что желание «прощать» во мне было тогда.

Но была близка мысль: что история поглощает смертельные конфликты в прошлом. Они не исчезают — наоборот, проявляются, но уже не можешь встать на чью-то сторону, не выпав из процесса, не взяв себе роль какого-то абсурдного судьи. Тогда это в первую очередь касалось, конечно, Сталина.

Ведь я начал читать самиздат — и мне сразу не понравилось, как пишут о Сталине. Как о закрытой исторической теме. Понятой, оцененной и снятой.

А. Т.: Любопытно, что несколько из тех ключевых понятий, которые я намечал для себя, готовясь к разговору, только что были произнесены. Это действие, практика, практичность — и вопрос, который должен был быть следующим. Тот интерес к Гефтеру, который сейчас формулировался, — если я правильно понимаю, если я правильно свожу — он заключен в интересе к пониманию устройства системы, системы координат, для того чтобы практически в ней сориентироваться, для возможности действия, для возможности производства исторического действия.

И у меня в связи с этим два связанных вопроса. Первое: Гефтер здесь воспринимается как тот, кто дает руководство к действию... То есть не руководство, а точнее так: как тот, кто дает ориентиры, кто дает какую-то карту или возможность создать карту реальности. И интерес к Гефтеру, который здесь фиксируется, тот запрос, который существует, он в любом случае связан с практикой? То есть Гефтер сам в этой системе координат, Гефтер сам в этой системе представлений — он как-то относится в вашей оптике к тому, кто сам связан с действием? Действующим?

Г. П.: Конечно — относится. Ведь он как раз тогда был в борьбе с Академией. Иначе он мне не был бы так остро интересен. Но для

меня было важно и то, что он действует, не покидая теории, раздвигает ее пределы.

Примат истории в тогдашнем молодежном понимании означал — примат действия. Что еще точнее — императив поступка. Я пришел к Гефтеру «лавристом», был фанатом Петра Лаврова. Его «Исторические письма» описывают и мое тогдашнее представление, зачем жить. Мы сразу много говорили о народничестве, о том, чем была народническая культура «поступка» и о коварстве поступка, превращенного в абсолютный моральный императив.

А. Т.: И тогда мой второй вопрос — если в этой плоскости, то каким образом действует Гефтер? Что является его историческим действием? Если он выступает в качестве одного из гуру, то чему он учит? Если мы говорим о проблеме исторического действия — и он является здесь учителем, то ведь здесь должен, по логике вещей, если мы уж вспоминаем Лаврова, вспоминаем «Исторические письма», быть поступок, который реализуется самим говорящим.

Г. П.: А... (*вздыхает*) Во-первых, Гефтер задает для моей тогдашней точки зрения, для меня, полноценный контекст. Находясь с ним и выслушивая его бесстрашное высказывание истины, причем как я слышу из его интонации, истины устанавливаемой им самим в момент ее высказывания, я попадаю в сердцевину свободной речи и оказываюсь в самом, извиняюсь, ядре логоса. От него я не требую ничего большего. Он генератор сверхдостаточного для меня истинного контекста. И я не требую от него каких-то добавочных действий. Так работает парресия, но тогда я, конечно, не знал этого понятия.

Я был у ног учителя, слушал его — и мне этого достаточно. И не планировал сам стать историком, каким-то советским гуманитарием. А он — сделал больше того, чего я мог бы ждать от советского гуманитария. Он поставил свои идеи выше своих социальных перспектив, заплатил за это.

Я ведь как раз встречаюсь с ним в то время, спустя несколько месяцев после крушения всех его бастионов, Сектора методологии и второго — в разделенном Институте всеобщей истории.

И он мне показывает — как видеть вещи с их истинной стороны. Нет запроса от меня — Михаил Яковлевич, научите меня, что делать. Он скорее меня придерживает на трудных местах.

Там, в частности, было очень важно, что он объяснил опасность такого хода, опасность экстранравственности. Когда нравственная экстрема как будто дает тебе право на все. Он показывал, что экстремизм этики — именно этики, не номинальной морали, и не идеологии — ведет

к катастрофе. То, что он называет «движением мысли» — видимо, вслед за Писаревым и Чернышевским...

Так вот, он отсекает эти соблазны — довольно быстро. То есть, с одной стороны, «кондитерской антропологии» раннего Маркса, который якобы был прекрасодушен, а после набежала толпа плохих людей — и все испортила, а с другой — очень близкий к нему, в сущности, соблазн экстранравственности.

Гефтер засадил меня за позднего Маркса, за два знаменитых тома дополнительных, 47-й и 48-й... Протащили их публикацию под видом «предварительных» вариантов «Капитала» — «Экономические рукописи 1861–63 гг.».

В это же время я, через самиздат, постепенно втягиваюсь в среду диссидентства в Одессе. Но опять он здесь постоянно тормозит мои резкости, усложняя каждую постановку вопроса. Гефтер — усложнитель вопросов. И у меня в разговоре развивается представление о том, что проблемы, которые для меня жизненно важны, еще недопоставлены. Они еще должны быть поставлены и раскрыты.

А. Т.: А перепрыгивая через годы и переходя к другому. На [вторых] Гефтеровских чтениях, в первый день, было сказано нечто довольно типовое — что для Гефтера, как и для целого ряда других, было принципиальным пытаться влиять на власть, разговаривать с властью и т. д. У меня из этого возникает совершенно другой вопрос, как раз связанный с поздним Гефтером конца 80-х — первой половины 90-х. Хорошо, одна сторона — это стремление влиять на власть, стремление говорить с властью. Но меня интересует другое: а что делает в этих условиях голос Гефтера тем, который звучит, да?

Г. П.: Когда? Нужно уточнять эпоху.

А. Т.: Тот же самый конце 80-х — начало 90-х. Что делает его заметной фигурой, тем, чей голос хоть в какой-то степени слышен? Что придает ему вес? Что делает его возможным? Пусть и на уровне слабого, но, тем не менее, различного голоса — присутствующим в этом разговоре, а не в монологе с властью? В чем источник хоть какого-то влияния?

Г. П.: Здесь есть общий ответ, средовой — и личный.

В средовом отношении, перестройка начинается как партийная реабилитация «золотых перьев» партии, изверженных из нее в ходе чисток 1968–70 гг. И те, кто начинают реабилитацию, дальше этого поначалу идти не собираются. А начинают ее прежде все те, кто в конце 60-х — начале 70-х сам еле удержался на самом краю, как Черняев. Например,

Лен Карпинский и Черняев были примерно в одной номинации, но Лен ушел налево, а Черняев направо...

Гефтер, безусловно, принадлежит к среде изверженных — с точки зрения тех, кто начинает реабилитацию. На 1970-й год квартира Гефтера — это некоторый интеллектуальный «хаб», известный в Москве, один из основных для гуманитарных наук. Библеровский семинар, встречи у Пятигорского, даже диссидентство — это сложится после. В 1968–1969-м году, когда решался вопрос об аресте Гефтера — еще никакого диссидентства нет, есть гражданское демократическое движение. Почему бы в другой версии основным политическим показательным процессом было не стать вместо процесса Якира-Красина, процесс, скажем — Гефтера-Карпинского? Это ближе к концепции Семчастного — он считал, что опасны не политический, а гуманитарный подшерсток.

Гефтер абсолютно иначе живет и действует после того, как он оказывается еретиком. Он не пытается устроиться в тихой заводи, чего от него ждали, где-то в системе, гуманитарной. Практически все так поступили. А он не стал. Потом диссидентство — это замеченный многими ход.

Про историка Удальцову, большую величину в командовании наукой, кто-то говорил, что Гефтер (о чем он так и не узнал) сыграл роль в ее смерти. Какую? Она прочитала в журнале «XX век и мир» интервью Гефтера. А до того была уверена, что этот «ярый антисоветчик» давно посажен или уехал на Запад — а значит не может ничего такого писать. Вдруг она видит его интервью в официальном, почти ЦКовском издании. Это было для нее сильнейшее потрясение, после которого она быстро сошла в могилу. Можно себе представить, как Гефтера воспринимали в Академии!

Его диссидентство было замечено — «Поиски» и т. д. И он еще раз прошел по краю перед возможностью ареста, в 82-м. Это, в общем, известно.

Сборники «Поиски» и «Память» — они создали какую-то другую картину. Его никак нельзя было спутать с Карякиным, например.

Но интересный вопрос — почему он писал властям. Ведь он никогда не выступал, в отличие от практически всех остальных из этого поколения шестидесятников, с идеей, что надо держаться поближе к власти — чтобы воздействовать на власть. У него есть пара памфлетов очень злых именно против, в частности, Лакшина — именно против такой позиции.

Но он считал... (*посмеивается*): «Мы здесь власть». Поэтому он мог во время обсуждения конституции писать с Левадой свой вари-

ант конституции. Он считал себя принадлежащим, видимо, к кругу учредителей этой системы.

А. Т.: Но одно дело, что он считал — но здесь получается, что он отчасти и считался таковым. Он считал с основаниями.

Г. П.: Ну да. Анатолий Черняев — когда еще почти ничего не сдвинулось в режиме — стал осторожно захаживать к Гефтеру — по вечерам, как стемнеет. Они выгуливали гефтерова пса Топа и беседовали. А ведь он перед этим порвал с Гефтером еще в 70-м году. И вот в восемьдесят шестом возвращается — как ни в чем ни бывало.

То есть Гефтер продолжает считаться каким-то скрытым имамом, полусвоим-получужим. В это время у него и появляется Юрий Афанасьев. Видимо, Черняев Гефтеру его прислал — и дальше Афанасьев очень плотно с ним общается. Гефтер передает Горбачеву письма, скорее всего, через Черняева.

М. Р.: Через Черняева, это точно. Он говорил.

Г. П.: И эти письма доходят. С одной стороны, это манера, не чуждая диссидентству — писать письма власти. И требовать чего-то. С другой стороны, он вносит в это дух XIX века, века писем. Он ценил письмо «Народной воли» царю Александру после 1 марта [1881], сочиненное Львом Тихомировым. Оно ему очень нравилось — как после этого страшного убийства отца его сыну предлагают примирение.

М. Р.: Ну, и... о письме Гамсахурдия Ленину.

Г. П.: Да, тонкий гефтеровский разбор письма 1921 года.

М. Р.: ... несостоявшийся диалог.

Г. П.: Гефтер сильно посмеивался, когда я перед арестом, в 1981 начал зачем-то писать наставительные письма в Политбюро, так сказать, учить вождей... Но сам он был не чужд этого. Здесь, понимаете, проблема русской власти. Она была нашей темой все эти годы. С момента, когда мы с ним познакомились, до самой его смерти. Пульсируя, солируя, присутствовала в той или иной форме, во всех вариантах — от противостояния до исторического компромисса. Но никогда не исчезала.

И как раз в этой проблеме у нас были большие разногласия. То сильные, то поменьше.

А. Т.: А если постараться ядро этих разногласий определить?

Г. П.: Гефтер исповедовал идею русского социума власти. Что Россия существует в реальности — только в пределах власти. Эта власть — негосударственная, и сама не может себя ограничить и определить. Что порождает вневластные группы тех, кто хочет установить ей за нее пределы. И в этом процессе, «мыслящем движении», появляется

интеллигенция, которая выступает одновременно субститутотом государственности и субститутотом общества.

Со всем этим я соглашался. Разногласия же были в том, что меня всегда тянуло к политизации идей, а старика это тревожило. Здесь нужно пояснить — дело в том, что в диссидентстве власть не считалась целью и не была даже мишенью в собственном смысле слова. Люди, мыслящие политически, в диссидентстве считались опасными. На них посматривали косо. Мой друг Вячеслав Игрунов, который любил политику, раздражал среду. Я хорошо помню: «А, опять этот Игрунов о политике!».

Я был близок к Игрунову, но мне хотелось какой-то неполитической политики, не политической. Об этом, собственно говоря, мой первый текст, в самиздате написанный по просьбе самого Игрунова, еще в 1972 году. В нем я предлагал охватить Советский Союз сетью «координаторов неформальной контркультуры». Собственно, я говорил прозой — ведь самиздат и был этой сетью неформаторов. А когда перестал ею быть, просто исчез.

У меня была склонность политически заострять или сдвигать их к потенциальной платформе. Но для Гефтера всегда там, где возникал политический поворот, возникал и вопрос — а где здесь «табу»? Где осевой запрет на не-должное? Это не-должное не было у него моралистической догмой, идущей «от обратного». Оно не реактивно. Это внутреннее ограничение должно быть присуще самому действующем субъекту. Оно в нем, но оно ему не принадлежит — и он не смеет им манипулировать. Не смеет подделывать разделительную черту должного и недолжного, разрешенного и неразрешенного.

Это Гефтера всегда тормозило в его собственных политических выступлениях. В том числе и в самом последнем, где вначале чеченской войны он предлагает обществу «кодекс ненасильственного сопротивления». Это чисто политическая акция. Историк выступает с радикальным политическим шагом. Но если открыть его кодекс и посмотреть, что им предлагается — вы с изумлением обнаружите, например, что там вообще нет электоральных действий, направленных на выборы. Не упоминается вообще такой институт, как демократические выборы. Там десять пунктов того, что должно делать гражданское сопротивление — и первым пунктом идут круглые столы! Это когда уже идет зверская война в Грозном. То есть, Гефтер все-таки остается внутри диссидентской «неполитической политики».

Разбирая политику, он сильно глубже, чем когда пытается ее сам предлагать. Что только бедный Горбачев мог подумать, когда Гефтер предлагал ему «посоветоваться с нашими живыми мертвыми»! Это важный концепт историка, но совершенно неполитический. Михаил Гефтер свободно включал свои теологические и метафизические образы в актуальный текст — а к такому мало кто был готов...

ВТОРОЙ РАЗГОВОР (26.IX.2019, МОСКВА)

Г. П.: ...Моя проблема в том, что я заканчиваю книгу о Гефтере, и она меня измучила. Мне трудно говорить простыми формулами, все проблематизировалось и поплыло.

А. Т.: А вот тогда, может быть, сразу с этого и начать? С книги о Гефтере. Природа сложности, почему сложно.

Г. П.: Есть простая сложность и сложная сложность. Простая состоит в том очевидном, что Гефтер мыслил сложно и еще сложнее выражался. И он не соблюдал требование идентичности. Он занимал разные интеллектуальные позиции по поводу одного вопроса, если у него возникало ощущение, что на вопрос надо взглянуть иначе. При этом от предыдущего он тоже не отказывался.

А это вело к тому, что он, думаю, не по своему желанию стал довольно герметичным мыслителем. Характерологически ему не свойственна герметичность, как и его исходному языку советского интеллектуального марксизма. Но движение в эту сторону прослеживается еще с последних подцензурных статей в Секторе методологии. Почему он с ним, наверно, и расстался в конце концов.

А сложная сложность в том, что во мне «поплыли» топики Гефтера, его темы, и я увидел, как узко их представлял. Так, например, тема холодной войны в наших диалогах была мной забыта. А теперь я увидел в ней одну из главных тем последних лет жизни Гефтера. Теперь во мне спорят несколько рамочных тем, и все восходят к последним годам нашего общения. Я начинаю видеть именно последние годы как разрыв какой-то его с самим собой. Я вспомнил, как упрямо настаивал Гефтер на том, что не Советский Союз разваливается, а разваливается последний проект единого человечества, а тем самым и некатастрофического выхода из холодной войны. Но тогда и на выходе ждите катастроф. Гефтер нисколько не думал, что Холодная война закончилась. Потому что она была определенным миропорядком, не столько геополитическим, а антропологическим скорей. Человек Холодной войны никуда не делся, и Гефтер говорил про неизбежность ее «римейка». Однако есть шанс

или, как он говорил — «гипотеза неисключенного спасения» — в том, чтобы Россия вернулась к идее альтернативы, растоптанной Сталиным. Не альтернативы западному миру, а альтернативы всему миропорядку холодной войны. Отсюда гефтеровская идея России как «страны стран в Мире миров». Множественность русских цивилизаций внутри мнимо единой советской, диктует, полагал он, выход на договорную федерацию. Что не сделает Россию «авангардом прогрессивного человечества», но создаст некоторую возможность продвижения к Миру миров.

Все происходящее в 1989–91 гг. смотрится для меня иначе в этой забытой перспективе.

Потом проблема слабости. Тема слабости — рамочная гефтеровская тема. Она возникает у него ведь еще в письмах Горбачеву, последнее — открытое, перед этим было два неоткрытых. Где он подчеркивает странный образ слабо-сильной державы, которая может уничтожить мир, начав мировую войну, но не способна выпускать подгузники, и не умеет приказывать даже их выпустить.

Наши дебаты о силе и слабости государства шли постоянно вокруг политических тем, а в 1993-м году вокруг судьбы Николая Бухарина, когда Гефтер работал над «Апологией Человека Слабого». После октября 93-го начинается теологический его поворот, он все больше интересуется слабостью в истории, слабостью как потенциалом.

В «Апологии Человека Слабого» он вглядывается в тридцатые годы, в падение тогдашнего «поколения сильных», которым всегда восхищался. Он спрашивает — как вообще могла случиться Вторая мировая война? В отличие от Первой — она, в общем, случайна, искусственна. Она не была настолько неизбежна, как неизбежна Первая. Вторая... она необъяснима, на самом деле. И он считал, что это спазм слабости — сильные люди оказались не способны остановить войну. Основания их силы были непригодны для этого. И они оказались в обозе Сталина.

Но Гефтер и Сталина включает в список падших в тридцатые. Он считает, что в Сталине погиб другой, масштабный Сталин — лидер «великой антифашистской империи». То же касалось поколения большевистских антифашистов. Прежде всего Бухарина, которому посвящена «Апология». Именно через Бухарина Гефтер рассматривает случившееся. И лишь после того, как люди тридцатых потерпели катастрофу — кто на Лубянке, кто при падении Парижа, кто 22 июня 1941, начинает возникать и становится возможной их новая сила. На краю они находят в себе другие ресурсы, другие основания и возвращают себе способность

сопротивляться. Гефтер считал, что Бухарин на Лубянке — это уже другой Бухарин именно потому что прежняя игра была проиграна, но когда он пытался как бы вернуть Сталина на путь, скажем так, антифашизма, и, пользуясь особыми отношениями — даже арест его был признаком особых отношений Сталина к нему, и то, как с ним обращались и так далее — он пробует уже другим, в нем другое прорастает.

А. Т.: А почему Бухарин оказывается для Гефтера ключевой фигурой размышлений? Это отчасти следствие уже позднесоветского восприятия? Следствие того, о чем, например, даже Г. П. Федотов, в эмиграции пишет, реагируя на 38-й год: он говорит о чистоте, говорит об особом образе. Или в фокусе все-таки в первую очередь восприятие процесса 38 года, выступление Бухарина как слом сценария?



Академик Владимир Александрович Тихонов, Стивен Коэн, Анна Михайловна Ларина, Юра Ларин (1980). Фото из семейного архива Гефтеров. / Vladimir Tikhonov, Steven Cohen, Anna Larina, Yura Larin (1980).

Г. П.: Во-первых, Гефтер — старый друг Анны Лариной, вдовы Бухарина и его сына Юрия. И конечно, он считает, что слом сталинского сценария — то, на что Бухарин стал способен благодаря Лубянке. Но у него интерес к Бухарину возник давно. Он имел какое-то отношение с людьми комиссии Шатуновской, которая готовила реабилитацию

Бухарина, Каменева и Зиновьева, но все кончилось ничем. Но они поднимали бумаги, с некоторыми Гефтер был знаком как я понимаю. Причем не только с теми, что сегодня опубликованы. Он знал некоторые детали, относившиеся к жизни Бухарина в камере — неопубликованные до сих пор. Он знал, что последние дни перед смертью у него страшно болело сердце.

Но Гефтер никогда не был в перестроечном обольщении Бухариным.

А. Т.: А насколько для него была важна вот эта тема особых, интимных отношений с вождем? Особого отношения.

Г. П.: Вы имеете в виду его попытки общения с Горбачевым? Может быть, а может, нет. В его письмах Михаилу Сергеевичу появляется совсем неупотребительное тогда в нашем внутреннем контексте — слово «лидер». И Гефтер говорит Горбачеву — он лидер, и он не должен идти за массой! Не демократическая концепция лидерства. Здесь в нем виден старый меритократ. Он потом пытался и Ельцину писать — и стиль его обращения к Ельцину — он необычный. Есть ли в этом что-то концептуальное — возможно. Он же вообще — он смотрел на историю как... Он даже Горбачеву ввернул в письме свою любимую тему живых-мертвых. Вот Горбачев, наверное, удивился. Письмо он, кстати, читал, Черняев ему передал.

«Наши живые мертвые» — кто это? Это крайняя форма исторического персонализма. С одной стороны, события для него — это важная вещь. Есть альтернативы, протоальтернативы. Альтернативы пронизывают события, но не всегда реализуются в них. Но есть люди, эти самые живые мертвые. Которые являются законченными, завершенными репликами истории. И одна реплика не противоречит другой. Поэтому Гефтер говорил, что здесь не логика, а «логический роман», и в нем действующие лица. И Россия...

Его теология живых-мертвых сама по себе расширявается через его понятие — о значении смерти как человеческой ценности, которая может быть отнята, и тогда человек исчезает. Нацизм и Сталин совершали страшное преступление, отнимая у людей их собственную смерть. Гефтер отличал смерть, гибель, убийство — очень различал. Он считал, что человек появляется с обнаружения своей смерти и происходит это через смерть другого, как свою.

Возвращаясь к Бухарину и Сталину, «диалогу судеб» и «слабому человеку». Это был 93 год, когда Гефтер начал над этим работать. Он чувствовал, что должен высказаться по поводу того, что знал о Бухарине. Вот он пишет в декабрьском [блокноте] — уже 94-й год, декабрь,

совсем плохие дни, идет война в Чечне, и он записывает: «Бедняга» — о Бухарине — Как болит голова перед смертью.

У него была надежда выйти на какой-то более глубокий уровень понимания слабости, человеческой слабости и ее резервов...

Сейчас для меня Гефтер — это пучок каких-то оборванных линий. Я понимаю, что, наверное, те линии где-то увязываются, но у меня нет сил это выявить. И все, что я могу сделать, это использовать себя тогдашнего как грубый прибор доступа к мысли Гефтера — попытаться понять, что там было внутри — в этом черном ящике. Вот, собственно говоря, так и построен мой текст.

Teslya, A. A. 2020. "Dva razgovora s Glebom Pavlovskim o Mikhaile Geftere [Two Conversations with Gleb Pavlovsky About Mikhail Gefter]" [in Russian]. *Filosofiya. Zhurnal Vyshey shkoly ekonomiki* [Philosophy. Journal of the Higher School of Economics] IV (2), 16–29.

ANDREY TESLYA

PHD IN PHILOSOPHY, SENIOR RESEARCH FELLOW, SCIENTIFIC DIRECTOR RESEARCH CENTER
FOR RUSSIAN THOUGHT, INSTITUTE FOR HUMANITIES,
IMMANUEL KANT BALTIC FEDERAL UNIVERSITY, KALININGRAD

TWO CONVERSATIONS WITH GLEB PAVLOVSKY
ABOUT MIKHAIL GEFTER

DOI: 10.17323/2587-8719-2020-2-13-162.